

ALEKSANDRA NIV'E

# УТОНУВШИЙ НА ЯРМАРКЕ

*Сорок два дня до Судного*



# Aleksandra Niv'e

## Утонувший на ярмарке

*<https://litres.ru/74686462>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Нижний Новгород, 1846 год. На шесть недель ярмарка подчиняется Уговору: рукобилье не позволяет лгать и нарушать слово без платы.

Прасковья Шарапова, вдова и счетовод, слышит ложь в числах, но не знает, какое число верно. Когда её кредитора, купца Савву Колычёва, находят утонувшим в запертой изнутри сухой лавке, подозрение падает на неё: его смерть избавила бы её от долга.

Пристав Лев Верховцев верит бумагам, а не старым обычаям, и считает Уговор суеверием. Но хромой рыжий кот Мирон Мироныч, хранитель ярмарочного счёта, предупреждает: Уговор карает не только того, кто нарушил клятву, но и того, кто подтолкнул его к этому. Если до Судного дня виновного не назовут вслух, Уговор рухнет.

У Прасковьи есть шесть недель, чтобы раскрыть тайну смерти и понять, кому можно доверять: той, что слышит ложь, и тому, кто верит только бумаге.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Пролог. Ночь перед флагами        | 6  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 42 |

# Утонувший на ярмарке

Aleksandra Niv'e

**Утонувший на ярмарке**

*Сорок два дня до Судного*

роман

2026

© Aleksandra Niv'e, 2026

Все права защищены.

Утонувший на ярмарке. Сорок два дня до Судного. Роман.

Произведение является художественным вымыслом. Описанные события и персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.

16+

## Аннотация

Нижний Новгород, 1846 год. Над Стрелкой поднимают флаги, и на шесть недель всё меняется: в ярмарочных рядах правит Уговор. Здесь не скажешь неправды при рукобיתье, не нарушишь слово и не уйдёшь от платы. Кому-то это удобно, кому-то нет.

Прасковья Шарапова, тридцати восьми лет, считает чу-

жую выручку и слышит ложь в числе так, как другие слышат фальшивую ноту. Дар кормит её и пугает: за такой слух в городе недолго угодить в колдуньи. Она должна Колычёву по векселям покойного мужа и имеет ровно один срок, Судный день, когда ярмарка закрывается.

Когда на рассвете в Ильин день находят купца Савву Колычёва, главного её кредитора, мёртвым в лавке, запертой изнутри, с водой в груди, все понимают, что это дело Уговора. Только пристав Лев Верховцев, присланный на время ярмарки из губернской полиции, привык вести дела по бумагам и не верит ни в Уговор, ни в духов. Поначалу он подозревает Прасковью: смерть кредитора ей выгодна.

Но Уговор судит не поступок, а волю, и тот, кто довёл человека до нарушения, остаётся безнаказанным, пока не будет назван. Хромой рыжий кот Мирон Мироныч, хранитель ярмарочного счёта, предупреждает: до Судного дня нужно назвать виновного, иначе Уговор рухнет.

Шесть недель. Одна ярмарка. Один человек, который не нарушил ни одного правила и всё же довёл другого до гибели. И два человека, которым придётся научиться доверять: той, что не говорит неправды, и тому, кто верит только бумаге.

# Пролог. Ночь перед флагами

В ночь перед ярмаркой в рядах было так тихо, как бывает только там, где завтра станет очень шумно.

Лавки стояли длинными рядами, закрытые ставнями, и пахли свежим деревом, дёгтем и пылью, которую ещё не успели сбить чужие сапоги. Внизу, под Стрелкой, Волга плескалась о борта барж. Вчера на пристани было ещё просторно, а сегодня мачты стояли так тесно, что казалось, будто на берегу вырос лес без листьев. Двое приказчиков дремали на мешках у крайней лавки. Одному из них снилось, что он что-то считает, и каждый раз у него получалась новая сумма.

По ряду шёл кот.

Шёл он не спеша, потому что торопиться ему было нельзя: одна лапа у него подворачивалась, и на неровных досках он ступал рывками, с достоинством, будто так и было задумано. Рыжий, тощий, с надорванным ухом, он смотрел как кот, который знает цену каждой мыши в этом ряду и недоволен их курсом.

— Деньги любят счёт, — сказал он мешкам, без почтения, но и без злобы. — А слово любит его ещё больше.

Мешки ему не ответили. Спящий приказчик вздохнул и повернулся на другой бок.

В конце ряда на высоком столбе висели свёрнутые флаги, мокрые от ночной сырости, как паруса в штиль. Кот сел под

столбом, подвернул больную лапу и стал ждать. Он делал это каждый год и давно не помнил, сколько раз. Для таких, как он, время считается не годами, а ярмарками.

Под утро что-то изменилось. Ничего не скрипнуло и не зашевелилось. Просто воздух между лавками стал плотнее, как перед грозой, и в тишине, где не было ни одного бодрствующего человека, кто-то один раз хлопнул ладонью о ладонь. Хлопок вышел сухой и короткий, как стук костяшек на счётах.

Кот кивнул.

— Сорок два дня, — сказал он. — Цена обычная.

Потом он ушёл, хромая, туда, куда уходят те, кто не любит, когда на них смотрят. К восходу всё стало таким же, как вчера: лавки, ставни, мешки и двое спящих.

Только теперь у ярмарки был срок.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Флаги

#### Глава 1

### Счёт, который не сошёлся

Флаги подняли в полдень, после молебна. Прасковья Шаропова видела это из окна своей конторки, и не потому, что хотела, а потому, что окно было одно, а флагов оказалось ровно три тысячи триста двадцать пять. Считать она не собиралась, но число сложилось само, как складывается чужая

фамилия, которую слышишь в сотый раз. Такие числа липли к ней без спроса и ничего не значили: это была привычка головы, а не знак. Она заставила себя отвести взгляд. На глаз это было просто «много», а «много» было тем словом, которого она старалась не допускать даже в мыслях.

Конторка стояла на самом краю Рыбного ряда. Её поставил ещё отец, из тех же досок, из каких строили лавки, поэтому она так же пахла смолой и так же скрипела по утрам. Внутри помещались стол, лавка, два шкафа с книгами и сама Прасковья, если не поворачиваться резко. На столе лежали счёты, перо, чернильница и первая выручка ярмарки: вернее, то, что чужие люди принесли на бумажных листках и называли выручкой.

Ей было тридцать восемь лет. Девять лет она считала чужие деньги, а последние два месяца делала это одна: муж её Игнат умер в мае, оставив ей контору, пять векселей и привычку просыпаться ночью с мыслью, что она что-то не досчитала.

— Восемьсот тридцать пять, — сказал Хрисанф Ефимыч.  
— Точно, до копейки. Вся дневная выручка.

Хрисанф Ефимыч торговал солёной рыбой и носил бороду лопатой, как у ветхозаветного пророка, только пророки, надо думать, пахли лучше. Он стоял напротив стола, сложив руки на животе, и смотрел в окно, на флаги, с видом человека, которому нечего скрывать.

Прасковья не подняла глаз. Она сдвинула на счётах

первую костяшку, потом вторую, потом сразу две, и костяшки стукнули сухо и мелко, как дождь по крыше сарая. Пока они стучали, в конторке было так тихо, что слышалось, как за стеной ворочается лёд в бочке. Этот звук она любила больше всех остальных: пока считаешь, мир остаётся понятным.

Потом она сказала:

— Восемьсот тридцать пять не сходится, Хрисанф Ефимыч.

— Как не сходится? — возмутился он. — У меня в листке чёрным по белому!

— В листке сходится. А вот когда вы назвали сумму вслух, она сфальшивила.

Он посмотрел на неё долго, и она видела, как в его глазах борются две вещи: желание спросить «да как вы смее» и понимание, что спрашивать так не стоит. В этом городе одни называли её дар слухом, другие называли его нечистым, и даже те, кто относился к ней по-доброму, на всякий случай переходили на другую сторону улицы.

— Сколько же? — спросил он тихо.

— Не знаю, — сказала она. — Я слышу только, что число неверное, а какое верное, мне не подсказывают. Если бы я знала, сколько вы утаили, я бы так и сказала. Пересчитайте дома, этого хватит.

Во рту у неё стоял привкус, какого не бывает у людей: вкус речной воды, холодной и немного железной. Она выпила чаю, который давно остыл, и привкус не ушёл. Так было

с девяти лет. Каждое фальшивое число оставляло на языке эту воду, а если таких чисел за день набиралось много, ночью приходила бессонница, и от неё не спасали ни счёты, ни молитвы.

У дара было ещё одно свойство, о котором она старалась не думать. Он работал только на слух. Бумага молчала. Самая бесстыдная ложь, написанная чернилами, звучала для неё не громче скрипа пера, и поэтому каждый вексель, каждую запись в книге ей приходилось проверять так же, как это сделал бы любой человек: глазами и головой. Иногда она думала, что это справедливо. Иногда думала, что нет.

Хрисанф Ефимыч забрал листки и вышел, не глядя на неё. Дверь он притворил осторожно, как закрывают комнату, где кто-то спит.

Потом заходили другие. Торговка калачами принесла свои записи, назвала каждое число правильно и каждый раз проглатывала последнее слово, словно боялась, что за ним последует вопрос. Приказчик из скобяного ряда принёс чужие, а свои спрятал. Прасковья слушала и записывала. Правдивые числа не звучали никак: просто лежали ровно, как доски в хорошем полу. К вечеру она привыкла к этой ровности и перестала замечать, что именно она и есть самое приятное в её работе.

Под вечер заглянула соседка, вдова Фёкла Андроникова, лавка которой стояла через два проулка. Она остановилась у порога, не входя.

— Прасковья, голубушка, — сказала она быстро. — Я не к тебе. Я мимо. Сегодня же первый день, народу как грязи. Только ты, если что услышишь, про меня не говори, у меня всё чисто. Я ведь не против тебя, ты же знаешь.

— Я не слышала ничего, Фёкла, — ответила Прасковья. — Вы ничего не называли.

Фёкла всё-таки перекрестилась, вроде бы на колокольню, которая виднелась в окне, но смотрела при этом на Прасковью, и ушла.

Прасковья вздохнула. Дважды за последние две недели её называли ведьмой в этом ряду, и оба раза за спиной. Она не обижалась. Обида требует сил, а силы у неё уходили на другое.

\* \* \*

Когда стемнело, она запалила лампу, и в её свете конторка стала похожей на каюту. Со стороны Волги потянуло сыростью. В углу стоял шкаф, а в шкафу, на нижней полке, лежали книги Игната, с вексельными записями, и она не открывала их уже месяц, потому что знала, что там написано. Девятьсот двенадцать рублей по пяти векселям. Она могла произнести это число спокойно, на нём не было ни одной фальшивой ноты. Но легче от этого не становилось.

— Пятнадцатое июля, — сказал кто-то из-под стола. — Первый день. Хорошо считаешь, вдова, но долго.

Прасковья не вздрогнула. За девять лет счётной работы она повидала всякое, и голоса под столом её больше не пу-

гали. Она только отложила перо и спросила, не нагибаясь:  
— Вы тут живёте или заглянули по делу?

Из-под стола вышел кот. Рыжий, тощий, с одним надорванным ухом, он качнулся на больной лапе, сел на пороге и поднял хвост трубой, как мачту.

— По делу, — сказал он. — Ты сидишь в моём ряду. Де-вять лет сидела без платы, я молчал. Теперь срок.

Прасковья посмотрела на него внимательно. Говорящий кот был не самой странной вещью в её жизни, но, пожалуй, самой невежливой.

— Я плачу за конторку каждый год, — сказала она ровно. — Казне, ярмарочному управлению и хозяину рядов. Кому из них вы приходитесь, я пока не поняла.

— Никому из них, — сказал кот. — Мирон Мироныч. Хранитель ярмарочного счёта. Без меня в рядах ни один счёт не сводится, хотя люди думают, что это они такие умные. Плата с тебя одна: один прямой ответ. Не сейчас. Когда понадобится.

— На какой вопрос?

— На тот, который я задам. Без «по моему разумению», без «коли не ошибаюсь», без всех твоих оговорок. Ты слышишь, как врут другие, а вот как станешь говорить сама, когда нельзя будет вильнуть, посмотрим.

Прасковья положила перо.

Вильнуть она умела. Оговорки были её привычкой и её щитом: слово «разумению» стояло между ней и любой уве-

ренностью, как забор между огородами. Человеку, слышащему ложь в числах, не следовало самому слишком твёрдо утверждать что-либо. Она не помнила, когда научилась так говорить, но помнила, что это ей помогало.

На вопрос кота она не ответила сразу. У неё было лицо человека, который советуется с цифрой, прежде чем её назвать.

— Спросите, когда понадобится, — сказала она. — Сейчас у меня ещё три листка до ночи.

Кот сказал «пхе», едва слышно, и пошёл к двери. На пороге он обернулся.

— Срок пошёл, — сказал он. — Считай дни, вдова. Ты тоже в этом ряду должница, просто не знаешь пока, кому.

Дверь закрылась. На улице гудела ярмарка, и этот гул обещал, что утром она загудит ещё громче. Прасковья досчитала последние листки, проверила, не осталось ли в них чего-то, что сфальшивило, и обнаружила, что оно осталось: не в листках, а в ней самой. Слова кота всё ещё стояли у неё в ушах, ровные и холодные, как сказанное вслух число.

Сорок два дня. Она проверила, как это звучит. Число не фальшивило. Оно было просто правдой, а правда в этих рядах имела свойство приходить к концу и требовать расчёта.

## Глава 2

### Контора Колычёва

Чайный ряд считался на ярмарке лучшим. Здесь не кри-

чали, не зазывали и не хватали за рукав: покупатель, которому нужен был чай, знал, куда идти, а тому, кому он не был нужен, нечего было делать среди этих лавок. Сквозь высокие двери тянуло сладким, тёмным запахом сушёного листа, и от этого запаха ряд казался богаче, чем был на самом деле.

Контора Саввы Никитича Колычёва стояла в середине ряда, на самом бойком месте, в двухэтажном доме с зелёной крышей, и пахла дорого. Так пахнут деньги, когда их не прячут: мокрым чаем, дубом и немного воском от печатей.

Прасковья пришла на третий день ярмарки, в тот час, когда дневной жар прогнал утренний гвалт и торговцы уже не кричали, а зевали под навесами. Она взяла с собой книгу, где муж записывал свои дела, и прижимала её к груди, как прижимают чужого ребёнка, который не хочет идти к незнакомому человеку. Идти ей не хотелось. Но срок по долгу подступал, и откладывать разговор стало нельзя.

Отец Прасковьи и Савва Колычёв когда-то начинали рядом, в одном ряду, и первое время даже делили на двоих один сундук. Потом Колычёв пошёл вверх, а отец остался считать чужие деньги и нисколько об этом не жалел. Муж Прасковьи, Игнат, думал иначе. Он хотел успеха быстро и взял у Колычёва денег под пять векселей. Жить после этого ему оставалось недолго.

В приёмной её ждали трое.

Первым поднялся со стула человек лет сорока, тихий, в приказчиьем сюртуке, с лёгкой хромотой. Хромал он иначе,

чем кот в её конторке: без гордости, скупое, будто извинялся перед собственной ногой.

— Тимофей Гуляев, — сказал он. — Приказчик Саввы Никитича. Вы к нему, сударыня Шарапова? Он вас уже ждёт. Чаю пожалуете? Дорога была жаркая.

— Благодарю, нет, — ответила она. Ей, по правде, хотелось пить, но принимать чай в этом доме было бы всё равно что принимать подарок от кредитора.

Второй поднялся не сразу, а с таким видом, будто вставал из любезности. Молодой, в жилете цвета спелой вишни, с поздним румянцем и ранней усталостью в уголках глаз, он улыбнулся ей так, словно только и ждал, когда она войдёт.

— Дмитрий Саввич, — сказал он. — Сын. Вы по делу, сударыня? То есть я верю, что по делу, потому что без дела в эту контору никто не заходит, даже мыши. А я и сам тут бываю только временами.

Рука у него оказалась гладкая и тёплая. В этом рукопожатии было что-то, после чего хочется проверить, на месте ли часы.

В дверях во внутренние комнаты стояла третья — женщина лет двадцати девяти, в тёмном платье, — не входя и не уходя. Она не ответила на поклон Прасковьи, но Прасковья почувствовала, что запомнены и поклон, и платок, и книга, которую она прижимала к груди.

— Лукерья Петровна, — представил Дмитрий, не глядя на неё. — Жена отца. Моя мачеха, то есть, но я всё не привыкну

говорить это вслух. Лукерья Петровна у нас молчаливица. Скажешь ей: «Не хотите ли чаю с нами?» — и услышишь одно и то же слово.

— Незачем, — сказала Лукерья.

Голос у неё был тихий и ровный, как у человека, давно решившего, что слова стоят дорого и тратить их надо с умом. Дмитрий развёл руками, будто показывал доказательство.

— Вот видите.

— Проходите, — сказал Тимофей. — Савва Никитич ждёт.

По дороге в кабинет им встретился мальчик с ящиком чая, и Тимофей остановил его, чтобы пересчитать. «Пять пудов десять фунтов, — сказал он вполголоса. — Восемь ящиков. Три тысячи двести листов обёрточной бумаги в одиннадцати пачках». Прасковья слушала и не могла ничего поймать. Всё было гладко, как кожа на новом барабане. Тимофей не соврал ни разу, ни на копейку, ни на фунт, а людей, которые ни разу не соврали в числе, она за свою жизнь знала считанных. Одним был её покойный отец. Вторым, пожалуй, мог бы стать и этот приказчик, но мало ли на свете аккуратных людей. Она отметила это мимоходом и пошла дальше.

Кабинет Колычёва был небольшим и почти пустым: стол, железный сейф, два стула и карта волжских пристаней на стене, вся в булавках. Сам хозяин сидел за столом и не встал. Вернее, встал бы, если бы не колени: когда она вошла, он пошевелился, поморщился и махнул рукой, показывая, что це-

ремонии отменяются. Ему было пятьдесят восемь. Громадный, седой, с тяжёлой челюстью и глазами человека, который последние несколько лет плохо спал, он казался вырезанным из того же дуба, которым пахла контора.

— Стой, — сказал он вместо приветствия. — Нет, сядь. Дамы стоят, когда им сообщают плохие новости, а у тебя, вдова, вид просительницы.

Она села.

— Просьба есть, Савва Никитич. Отсрочка. Долг Игната я не оспариваю, сумма в векселях. Но отдать всё в один день мне не из чего.

Колычёв потёр колено и посмотрел на карту.

— Девятьсот двенадцать рублей, — сказал он. — По пяти векселям. Срок — до закрытия ярмарки, до Судного дня, как у нас говорят. После — ни дня.

И тут Прасковья услышала.

Число прозвучало в кабинете, как звучит в музыкальной шкатулке лишний зубец на валике: почти незаметно, но мелодия уже не та. Не ложь, от которой во рту появляется вкус реки, а лишь тень лжи: число в чём-то расходилось с действительностью, но слух не мог сказать, в чём. Девятьсот двенадцать. Вроде бы верно. И всё-таки с трещиной.

— Сумма... верная? — спросила она.

— Я не торгуюсь чужими долгами, — резко ответил он, — я считаю свои. В книге так. Ты сомневаешься?

Потом она часто вспоминала этот миг и спрашивала себя,

почему не сказала прямо: «Сумма звучит неверно». Ответ был простой: права так говорить у неё не было. Слух сообщал, что число фальшивит, но не сообщал, кто именно солгал: тот, кто его назвал, книга, откуда оно взято, или тот, кто эту книгу писал. А обвинить самого Савву Колычёва из-за одного призвука значило добровольно навлечь на себя суд, а то и обвинение в колдовстве.

— Нет, — сказала она. — Я сомневаюсь только в себе. До Судного дня я успею.

Колычёв долго смотрел на неё. Потом спросил неожиданно:

— Ты сама эти векселя когда-нибудь пересчитывала?

— Игнат вёл дела один, — ответила она. — Я видела только итог.

— Пересчитай, — сказал он. И, словно испугавшись, что сказал лишнее, добавил жёстче: — Срок один, вдова. Я не прошу двух.

Она поднялась. У двери он вдруг окликнул её уже другим голосом, тихим и усталым:

— Отец твой считал так, что ему верили без бумаги. Таких теперь нет. Ступай.

В приёмной за столом сидел Тимофей и наливал чай в чашку, которую никто не просил. Так делают люди, которым надо чем-то занять руки. Дмитрий стоял у окна и насвистывал что-то весёлое, не к месту и не в лад. Лукерья Петровна всё ещё была в дверях. Когда Прасковья проходила мимо,

женщина подняла глаза и посмотрела на неё внимательно, как смотрят на того, кого придётся запомнить.

— Незачем, — сказала она тихо, ни к кому не обращаясь.

Прасковья не поняла, к чему это относится: к чаю, к просьбе или к ней самой. Она поклонилась и вышла.

На улице ударил жар. Над ярмаркой висели флаги и бесстрастно шевелили краями. Она остановилась в тени навеса, прижимая к груди мужнину книгу, и позволила себе сосчитать, сколько дней осталось до закрытия. Тридцать девять. Раз уж ей пришлось в голову сказать «успею», надо было, по крайней мере, понять, чего она не успевает.

Потом она пошла домой: проверять векселя.

## Глава 3

### Новый пристав

Нового пристава заметили в рядах раньше, чем он успел назвать себя. Высокий, сухой, с прямой спиной человека, который так долго учился держать её без приказа, что теперь не мог отучиться, он шёл по Рыбному ряду один, без свиты, и под мышкой нёс потёртый портфель. Углы портфеля потемнели от пальцев. На каждом третьем шагу пристав заглядывал в бумагу, будто в ней была карта всего, что ему предстояло здесь понять.

Торговцы провожали его глазами и делали вид, что заняты своим товаром. Рыбный ряд вообще умел делать вид. Он за один день научился бы притворяться даже ярмаркой, если

бы это сулило выгоду.

Прасковья видела пристава из окна. Потом вышла из конторки: у весов Хрисанфа Ефимыча начинался шум, а где шум, там цифры, и там же, как правило, ложь. Идти не хотелось, но она давно заметила, что лучше самой увидеть неприятность издали, чем ждать, пока она придёт и постучится в дверь.

Хрисанф Ефимыч стоял у своих весов, борода лопатой, и показывал приставу гири. Гири были чёрные, жирные от рук, с казёнными клеймами, как положено. Рядом, заложив большие пальцы за пояс, стоял квартальный Малахов: грузный человек лет сорока с ленивым взглядом и очень внимательными глазами.

— Всё по закону, ваше благородие, — говорил Хрисанф Ефимыч. — Гири стальные, казённые, хоть самого губернатора взвешивай. Рыбы пять пудов тридцать фунтов, как в бумаге записано.

Пристав сверился с листком. Потом присел и взвесил на ладони одну из гирь, самую маленькую. Потом поставил её на место и долго смотрел на весы, словно ожидал от них признания.

— Вы готовы подтвердить это рукобיתем? — спросил он.

Слово он произнёс тем же ровным голосом, каким спрашивал бы про подпись на бумаге. Но ряд замер. Торговка калачами, которая только что звонко ссорилась с мальчишкой, замолчала на полуслове. Малахов перестал смотреть лениво.

Хрисанф Ефимыч побледнел.

— Ваше благородие, — сказал он, — так не шутят.

— Я не шучу, — удивился пристав. — Мне объяснили, что здесь так принято: сказал при свидетелях, ударил по рукам, и разговор окончен. Это ведь проще протокола.

— Это... — Хрисанф Ефимыч оглянулся на ряд. Ряд смотрел на него. — Это если человек точно знает, что говорит. А я по своему разумению. Рыба — вещь живая, ваше благородие, то есть была живая. Сохнет, теряет вес. Может, тридцать фунтов, а может, двадцать девять с половиной.

— То есть вы не уверены.

— Я уверен, что я не вор! — вспыхнул тот. — А насчёт фунтов — как Бог даст.

Пристав посмотрел на него как на бумагу без подписи и перевёл взгляд на Прасковью, стоявшую в двух шагах с пером за ухом. Кажется, он заметил её только теперь, хотя на самом деле заметил ещё в первую минуту.

— Вы что-то хотите сказать, сударыня?

— Хочу, — ответила она. — Пять пудов тридцать фунтов — число верное. Я слышала, как он его назвал.

— Вы слышали?

— Слышала, — сказала Прасковья. — Когда число неверное, оно фальшивит. Это трудно объяснить. Как если бы вы знали ноту и вам вдруг сыграли её чуть ниже.

Пристав помолчал. Малахов за его плечом откашлялся и стал внимательно рассматривать собственный сапог.

— Любопытно, — наконец сказал пристав. — То есть вы утверждаете, что на слух определяете, лжёт ли человек?

— Только в числах, — сказала она. — И только вслух. Бумага для меня молчит. И я не утверждаю, а говорю: так бывает. Проверить это нетрудно.

— Как раз это я и собирался сделать.

Он вынул из портфеля маленькие гири, свои собственные, завёрнутые в тряпицу, и поставил на чашу весов. Весы качнулись и замерли. Рыба на другой чаше тоже замерла.

Пять пудов двадцать девять фунтов с половиной.

— Вот видите, — тихо сказал Хрисанф Ефимыч. — Я же говорил: как Бог даст.

Пристав кивнул, будто ничего другого не ожидал, но Прасковья заметила, как дрогнули его губы: он ждал, что число окажется другим. Он, видимо, привык, что люди врут, а весы нет, и теперь не знал, как поступить, когда обе стороны оказались честными.

— Лев Верховцев, — сказал он наконец, не обращаясь ни к кому. — Пристав. Меня прислали из губернской полиции на время ярмарки: ваш прежний слёг. Про рукобилье мне говорили, но я привык думать, что такие вещи рассказывают новичкам, как рассказывают про привидения в казармах. Сегодня вы меня удивили, сударыня. Но не убедили.

— Я и не собиралась убеждать, — сказала Прасковья.

— А что же вы собирались?

— Предупредить, — сказала она. — Здесь есть Уговор.

Он старше полиции и старше ярмарки, и он не зависит от того, верите вы в него или нет. Если человек поклялся вслух, ударил по рукам и сознательно соврал или потом сознательно нарушил клятву, его не станет в тот же день. Не посадят, не оштрафуют, а просто не будет.

— Не будет, — повторил пристав.

— Хрисанф Ефимыч поэтому и не бил по рукам. Не потому, что виноват. Потому что сказал «по моему разумению», и это спасает.

— Любопытная защита. — Пристав позволил себе самое слабое подобие улыбки. — Выходит, достаточно сказать «как мне кажется», и самое тяжкое обвинение становится безопасным?

— Не обвинение, а клятва, — поправила она. — Обвинять можно сколько угодно. Опасно клясться.

Верховцев закрыл портфель.

— Пока я не вижу на весах ни одного Уговора, сударыня, — сказал он. — Его нельзя ни взвесить, ни записать. Поэтому в моём протоколе его не будет. Это вам не обида. Это порядок.

— Он нужен вам больше, чем вы думаете, — сказала Прасковья, и, к её удивлению, это была правда. — Уговор защищает тех, кто говорит. А тех, кто молчит или не умеет говорить, защищает бумага. Ярмарке нужно и то и другое.

Пристав слегка поклонился, как кланяются противнику, которого нельзя считать ни другом, ни врагом.

— Шарапова, — сказал он. — Это вы Шарапова? Мне говорили про вашу конторку. Я запомню ваше имя. И дам вам совет: не рассказывайте при мне о своём слухе маленькими кусочками. Женщина, которая заранее знает, что в счёте что-то не так, в протоколе выглядит как особа, осведомлённая о преступлении.

— В каком преступлении? — спросила она.

— В любом, — сказал он. — Пока это просто слова.

Он пошёл дальше по ряду, и Малахов двинулся следом, раскачиваясь, как лодка. Доски под ними скрипели. Пристав ступал осторожно, словно подозревал, что они говорят не всё, что знают.

Прасковья смотрела им вслед и думала, что этот человек впервые за всю ярмарку слушал её так, будто она говорила дело. Это было приятно и очень опасно.

Хрисанф Ефимыч подошёл к ней и сказал:

— Спасибо, что вступились. Только вы осторожнее. Он ведь запишет.

— Запишет, — согласилась она. — Я записываю только то, что слышу. И по сей день никому не навредила.

Хрисанф Ефимыч вздохнул и пошёл поправлять весы, которые уже стояли ровно.

На крыше соседней лавки сидел кот и смотрел вслед приставу, не шевеля даже ухом.

— Смотрит, — сказал он самому себе. — Считает. Ну и пусть.

Потом перевёл жёлтые глаза на Прасковью. Она не ответила: вокруг было слишком много людей. Но подумала, что из всех, кто сегодня говорил при ней в этом ряду, ни один не вызвал у неё такого желания проверить свои числа заново.

## Глава 4

### Ильин день

На рассвете в Ильин день стояла душная тишина, какая бывает перед грозой. Гроза и правда собиралась, но где-то далеко за Волгой, глухо, будто кто-то катал по небу пустые бочки. Старики говорили, что после Ильина дня в воду лезть нельзя: пророк в этот день бросает в реку лёд. Бросил ли он что-нибудь в этом году, никто не знал. Зато в реку попал человек, которого туда не бросали вовсе.

Прасковью разбудил стук. Стучали не в дверь, а в окно, тихо, костяшкой пальца: так стучат, когда не хотят будить соседей. Аграфена была женщиной заботливой даже тогда, когда прибегала с дурной вестью.

— Тётя Прасковья! — прошептала она в щель ставни. — Колычёва нашли!

— Где нашли? — Прасковья уже натягивала платок. В голове у неё мелькнула мысль, длинная и некрасивая: что долг теперь перейдёт к кому-то другому, и этот другой может не дать отсрочки. Она услышала эту мысль как будто со стороны, и ей стало стыдно.

— В его лавке, — сказала Аграфена. — Он заперт изнут-

ри. И мокрый.

— Как мокрый?

— Не снаружи, — сказала Аграфена. — Внутри. Приказчики говорят, он утонул.

Аграфене было лет двадцать пять. Она служила при колычёвской конторе восьмой год: топила печи, мыла полы, носила воду. Она была из тех женщин, которых никто не замечает, пока не понадобится чистая комната. Прасковья замечала её давно. Аграфена никогда не считала вслух и никогда не врала в числах, а это встречается реже, чем хорошие манеры.

У колычёвской лавки уже стояла толпа. Люди, которые вчера кричали цены, молчали, и это молчание было хуже любого крика. Они стояли тесным полукругом, не подходя близко, как стоят у чужой беды. Дверь лавки была выбита, а на пороге, заслоняя вход, стоял тот самый высокий худой человек с потёртым портфелем.

— Никто не входит, — сказал Верховцев. Он не повысил голос, но толпа послушалась. — Пока не доказано обратное, это место преступления. Доктор внутри?

— Внутри, ваше благородие, — ответил квартальный Малахов, стоявший у него за плечом. — Говорит, утопление. Только воды-то в лавке нет.

— Как нет?

— Нигде нет. Доски сухие. А в нём вода есть.

Верховцев обернулся и увидел Прасковью. Лицо у него на мгновение стало таким, какое бывает у человека, нашедшего

на карте города лишний переулочек.

— Вы, — сказал он. — Шарапова. Вы вчера были у него в конторе.

— Не вчера, — поправила она. — На третий день ярмарки. Три дня назад.

— Точность вам к лицу. Войдёмте.

На пороге она остановилась. Во рту у неё появился вкус реки: холодной воды с песком и железом. Он появлялся всякий раз, когда рядом звучало фальшивое число, но здесь никто не говорил ни слова. Лавка была пуста и тиха. Так отзывалось в ней само место, где Уговор только что взял плату. Слух тут был ни при чём: слух слышит числа, а в лавке никто ничего не называл. Это пугало больше любой лжи.

Лавка Колычёва была небольшой, как все лавки в чайном ряду, и пахла чаем и дубом. Вдоль стен стояли ящики с мёдом на боках, над прилавком висели весы, а в глубине помещения стоял стол. Заднюю стену закрывал штабель ящиков, доходивший почти до потолка. Над ним под самой крышей темнело единственное окно, маленькое, с железной решёткой, в которую не пролез бы и ребёнок.

За столом сидел Савва Колычёв. Его руки лежали на столешнице, ладонями вниз, и казалось, что он прижимает стол к полу, чтобы тот не улетел. Голова склонилась к плечу. Если бы не вода, вытекающая изо рта на подбородок и рубаху, можно было бы подумать, что он задремал за работой.

Рядом на коленях стоял врач, сухонький человек в очках,

и держал два пальца на шее покойного. Когда вошли, он поднял голову.

— Утонул, — сказал он без вступлений. — Из рта и носа шла вода, уже остыла, пахнет рекой. Хорошо пахнет, если так можно сказать. Волосы и одежда сухие. Вскрытия я ещё не делал, но грудь при нажатии отдаёт водой, как у вытащенного из реки. Будто он всю ночь пролежал на дне какой-нибудь старицы.

Верховцев подошёл ближе. Он смотрел по очереди на пол, на стены и на потолок, как смотрят на счёт, в котором ищут ошибку. Доски были сухими до последней щели, ни одной капли. Он перевёл взгляд на дверь: изнутри на ней висел тяжёлый железный засов, вырванный вместе с куском крепления. Его выбили снаружи плечом.

— Ключ?

— В кармане, ваше благородие, — ответил Малахов. — В сюртуке. Замок был закрыт и засов задвинут. Закрылся сам, изнутри.

— Сам, — повторил Верховцев. — Закрылся на засов, утонул в сухой комнате, и никто не слышал ни звука. Разумных объяснений у меня нет. Есть у кого-нибудь?

В лавке молчали. Только за спиной у порога кто-то тихо всхлипнул. Это был Дмитрий Колычёв, без жилета, в одной рубашке, с лицом, на котором проступила бессонная ночь. Рядом стоял Тимофей Гуляев и держал его за локоть, не так, как держат виноватого, а так, как держат больного ребёнка,

который ещё не понял, что с ним случилось. Лукерья Петровна стояла чуть поодаль в тёмном платке и не плакала. Она смотрела на мёртвого мужа тем же ровным взглядом, каким смотрела на всех, и по этому взгляду нельзя было понять, горе это или усталость.

— Это Уговор, — сказал Тимофей тихо. — По моему разумению, ваше благородие. Так бывает, когда человек нарушил слово. Только я не знаю какое. Савва Никитич слова своего ни разу не нарушил.

Верховцев посмотрел на него, потом на Прасковью.

— Вы тоже так думаете?

Она не ответила сразу. Она смотрела на руки покойного: прижатые к столу ладони, побелевшие пальцы. На столе не было ничего, кроме пустой чашки. Ни пера, ни чернил, ни книги. Только чашка и руки.

— Я думаю, — сказала она медленно, и каждое слово давалось ей тяжелее предыдущего, — что он не боролся. Я не знаю, что тут было ночью. Но человек, которого тащат в воду, не кладёт руки на стол так спокойно. Он сидел и ждал.

— Ждал чего?

— Не знаю. Конца.

Она запнулась и добавила, потому что иначе не могла:

— На третий день ярмарки он сказал мне: «Срок один». Я тогда не поняла, что он имел в виду.

В лавке стало совсем тихо. Верховцев поднял голову от протокола и посмотрел на неё так, как смотрят на человека,

который только что сам положил себе на тарелку лишнюю улику.

Он подошёл ближе и сказал так тихо, что услышала только она:

— Вам бы не слышать столько, сударыня. Вы мне подзрительны, и вы сами это понимаете. А ваш кредитор мёртв.

Прасковья кивнула. Возразить было нечего, и она не стала возражать.

На крыше лавки напротив кто-то лениво мяукнул. Никто из людей не поднял головы.

## Глава 5

### Сведено

К полудню лавку очистили от людей. Толпа отошла неохотно, пока Малахов не оттеснил её вдоль ряда своим тяжёлым плечом, и только кто-то из задних рядов всё ещё тянулся на цыпочках, чтобы увидеть хоть что-нибудь. В лавке остались пятеро: пристав, врач, Прасковья, которую Верховцев почему-то не отпустил, Тимофей Гуляев, не отходивший от тела, и Арсений Бурков, который пришёл позже всех и сразу закричал.

— Украли! — кричал он с порога, красный, с мокрыми от пота висками. — Книга! Где книга? Я двадцать лет знаю эту лавку, она стояла вот тут!

— Какая книга? — спросил Верховцев.

— Счётная! Общая! — Бурков осёкся и деланно кашля-

нул. — То есть его книга. Записи. Всякий купец имеет книгу.

Прасковья слушала не слова, а числа в них, как всегда. Двадцать лет были правдой, «стояла вот тут» — тоже, а слово «общая» она отметила не слухом, а вниманием: Бурков выкрикнул его раньше, чем подумал, и сразу поправился. Общая — значит, у книги было больше одного хозяина. Она ничего не сказала. Она привыкла молчать о том, что слышит, пока не поймёт, куда это положить.

— Полка пуста, — сказал Верховцев. Он стоял у полки за прилавком, где между двумя тяжёлыми томами зиял ровный промежуток шириной в ладонь. — Пыли нет. Значит, убрали недавно. Доктор, когда он умер?

— Ночью. Ближе к полуночи, я бы сказал, но не поручусь.

— А на закате его видели живым?

— На закате он отпустил приказчиков и пошёл в лавку один, — сказал Тимофей. Голос у него был тихий и ровный. — Я сам видел. Он был спокоен, ваше благородие. Вот что странно. Спокойнее, чем я его знал.

Прасковья прошла вдоль прилавка. Улик она не искала: искать улики она не умела. Она просто смотрела на числа: на ярлыки в ящиках, на цены, написанные мелом на дощечке, на счёты, где костяшки стояли в странном порядке. Три тысячи сто, и ещё сорок, и ещё две. Кто-то набрал на счётах число и не стёр его.

— Господин пристав, — сказала она. — Взгляните на счёты.

— Это сумма?

— Это остаток. Три тысячи сто сорок два. Только я не знаю, чего.

Она ожидала, что он решит, будто она вмешивается. Но Верховцев лишь достал блокнот и записал числа карандашом, аккуратно, ничего не поправляя.

— Спасибо, — сказал он. — Это именно то, что требовалось записать: число, которое можно проверить.

Потом он провёл рукой по стенам. Правая стена, левая, задняя за штабелем ящиков: ящики стояли так плотно, что между ними и стеной не прошла бы ладонь. Верховцев отметил только, что на полу перед штабелем доски протёрты шире, чем у других стен, и решил, что это от таскания ящиков. Он записал и это и велел Малахову осмотреть пол за штабелем, когда лавку будут описывать: до описи ничего двигать не позволялось.

У стола он остановился. Врач уже поднял со стола руки покойного, и на дереве остались влажные отпечатки ладоней. Верховцев приподнял чашку — пустую, без единого следа чая. Под ней лежал лист, подсунутый так, чтобы наружу торчал только уголок. Верховцев вытянул его двумя пальцами.

Это была страница из конторской книги, вырванная ровно, по линейке. Из какой именно книги, было неясно. На ней стояла единственная запись, сделанная знакомым ровным почерком: «Ильин день. Долг вдовы Шараповой прощён

по духовной грамоте. Сведено».

— «Сведено», — прочёл Верховцев вслух. — Что это значит?

— Так купцы пишут, когда счёт закрыт, — ответил Бурков слишком быстро. — Ничего особенного.

Но Прасковья уже поняла две вещи. Первая: «Сведено» написано рукой человека, который не боится. Вторая: это слово Колычёв писал в книге, а страницу из этой книги положил в самом конце, как ставят точку. Ей пришло в голову, что Колычёв мог сам подвести счёт. Но это было лишь одно из объяснений: тот, кто убил, тоже мог оставить запись.

Вслух она не сказала ничего. В лавке было слишком много чужих ушей, и одно из них — пристава — она ещё не была готова нагружать выводами. Но она посмотрела на Тимофея, и впервые за три дня он поднял глаза и ответил ей взглядом. В этом взгляде не было ни испуга, ни горя. Была усталость, как бывает после очень долгой работы, когда она наконец окончена, и радости от этого нет.

## Глава 6

### **Назови волю**

Утро седьмого дня началось с того, что Прасковью разбудили не петухи и не колокол, а стук в калитку. Квартальный Малахов стоял на пороге, огромный, как печь, и держал в руке бумажку с печатью.

— Вас требуют, сударыня, — сказал он. — Господин при-

став приказал: сразу, как проснётесь, и без завтрака.

— Без завтрака я не могу, — ответила она. — От голода у меня шумит в голове, а когда шумит в голове, я хуже слышу цифры.

Малахов подумал над этим доводом всерьёз, как думал над всем, что не значилось в его уставе, и разрешил выпить чаю, но стоя. Она выпила чашку стоя, под его взглядом, и взяла с собой дощечку, на которой мелом был выведен итог той ночи: двести семнадцать рублей сорок копеек и рядом, мелким почерком, «без четверти двенадцать». Квартальный бережно принял дощечку обеими руками, будто это была икона.

— У вас всегда так? — спросил он по дороге.

— Как?

— Чтобы час писать рядом с итогом.

— Привычка, — сказала она. — Цифра без времени — как человек без имени. Вроде есть, а спросить не с кого.

Допрашивали в казённой избе при Гостином дворе, где пахло сырой кожей и дешёвыми чернилами. Верховцев велел поставить два табурета друг против друга, разложил на столе блокнот, перо и чистый лист и начал с вопроса, на который Прасковья была готова ответить сразу.

— Сколько вы были должны Колычёву?

— Девятьсот двенадцать рублей по пяти векселям, — сказала она. — Так значится в его бумагах, и так считаю я. Векселя выписал мой муж, Игнат, а теперь этот долг лежит на

мне.

— Вы всегда так говорите? — спросил пристав. — «По моему разумению», «коли не ошибаюсь». Для протокола это неудобно: из таких слов не поймёшь, уверены вы или нет.

— В цифрах я уверена, — ответила она. — А обо всём остальном на ярмарке лучше не утверждать без оговорки. Вы поймёте почему, если проживёте здесь подольше.

Он что-то записал и спросил уже другим тоном:

— Смерть Колычёва вам выгодна. На найденном листе ваш долг прощён. Вы об этом знали?

— Нет.

Слово вышло чистым, без привкуса реки. Она прислушивалась к себе, как прислушивалась бы к чужому счёту: правда оставляла на языке тишину, а ложь — холодную воду. Сейчас вода не появилась. Но Верховцев этого слышать не мог, и ей пришлось обойтись тем, что есть: говорить ровно и не торопиться.

— Где вы были в ночь на Ильин день?

— Дома. До полуночи сводила чужую выручку, потом легла. Аграфена пришла утром, когда уже светало. Свидетелей того, что я не выходила, у меня нет: я живу одна.

— То есть ни одного свидетеля.

— Есть счёты, — сказала она. — По ним видно, до какого часа я работала. Я записываю итог на дощечке мелом и ставлю час. Мел не успел стереться.

Верховцев помолчал и кивнул. Он не сказал, что верит ей.

Он сказал нечто более полезное:

— Это можно проверить. Дощечка при вас? Малахов, положите её на стол.

Дощечка легла между блокнотом и пером. Верховцев осмотрел её с обеих сторон, достал из кармана лупу, какими пользуются часовщики, и долго водил ею вдоль мелового следа. Прасковья ждала, что он найдёт изъян. Он не нашёл.

— Мел лёг ровно, — сказал он. — Следов исправления нет, нажим один от первой цифры до последней: запись сделана одной рукой и за один раз. О времени она не говорит ничего, потому что час можно вывести и наутро. Поэтому дощечку я принимаю не как доказательство, а как повод проверить. Малахов, спросите соседей, горела ли у вдовы лампа в ту ночь.

— Это честно, — сказала она.

— Для бумаги — да, — согласился он. — Бумага меня не обманывала ни разу. Люди обманывали, и не раз.

Потом допрашивали остальных, а Прасковья, которую никто не отпустил, сидела на лавке у стены и слушала. Дмитрий Саввич, сын покойного, говорил охотно и красиво, как человек, привыкший нравиться: всю ночь он просидел в трактире у пристани, играл в кости, проиграл три рубля. На вопрос «во сколько ушли» он ответил «трудно сказать», и протоколу это не помогло. Лукерья Петровна, жена покойного, не ответила почти ни на что. Она сказала только, что Савва Никитич попрощался с ней в седьмом часу вечера и пошёл в

лавку один. На вопрос, не случилось ли у него ссор в последние дни, она ответила: «Незачем». Верховцев переспросил, что это значит. «Незачем», — повторила Лукерья, и от неё отстали.

Арсений Бурков был точен до минуты, и от этой точности хотелось отодвинуться. Он вышел из своей лавки в половине десятого, пил чай у знакомого, ушёл от него без четверти одиннадцать и назвал, у какого именно. Всё это он выговорил одним духом, глядя на стену над головой пристава. Прасковья слушала числа: они были верные. Только это ничего не доказывало. Верные числа можно выучить, как молитву.

Тимофей Гуляев отвечал последним. Он стоял, опустив руки, и говорил тихо и ровно:

— В седьмом часу я видел его живым. Он отпустил приказчиков и пошёл в лавку один. Он был спокоен. Вот что странно: спокойнее, чем я его когда-либо знал.

— Вы часто его видели?

— Двадцать лет, — сказал Тимофей. — Каждый день, кроме воскресений.

Он ни разу не назвал числа, которое не было бы точным, и ни разу не сказал лишнего слова. Верховцев записывал его ответы без остановок, не переспрашивая, и Прасковья заметила, что ему от этого нехорошо: так записывают то, чему сам не веришь, потому что слишком гладко.

\* \* \*

К вечеру протокол разросся до трёх листов. Малахов, вернувшись от соседей, доложил, что у вдовы горела лампа до полуночи, а потом погасла; Верховцев записал это отдельной строкой, как сведения, а не как доказательство. Но ни один из листов не отвечал на главный вопрос. Верховцев вышел на крыльцо подышать. Прасковья вышла следом, потому что её никто не отпускал, а оставаться одной в избе с запахом сырой кожи не хотелось. На перилах крыльца сидел рыжий кот и смотрел мимо неё.

— Ты медлишь, — сказал он тихо, чтобы пристав не слышал. — Старые счёты не ждут. Колычёв умер по Уговору.

— Это я уже поняла, — прошептала она. — Какое слово он нарушил?

— Какое — не важно. Важна воля. Уговор не смотрит на исход, он смотрит на намерение. Если человека обманули или вынудили, но слово нарушил он сам, своей рукой, он платит: воля при выборе остаётся при нём. А тот, кто довёл, цел, пока его не назовут вслух. Этой ночью заплатил тот, кто нарушил.

— Значит, сам? — спросила она. — Совершенно сознательно?

— Я не сказал «сам», — отозвался кот. — Я сказал «заплатил». Эти две вещи не всегда совпадают. Думай, вдова. До Судного дня тридцать пять дней, а кто-то всё это время ходит по рядам и спокойно дышит.

Она хотела спросить ещё что-то про волю, про то, как Мир

отличает сказанное по доброй воле от сказанного под нажимом, но на крыльцо уже вышел Верховцев и остановился, глядя на женщину, которая разговаривает с котом на перилах.

— Вы что-то сказали? — спросил он.

— Сказала, — ответила Прасковья, и это была первая фраза за целый день без единой оговорки. — Я говорила с котом. Он важный свидетель, но в протокол его не запишешь.

Верховцев долго смотрел на неё, потом на кота, потом снова на неё.

— Сударыня, — сказал он наконец, — в вашего кота я не верю. Но впервые за день вы ответили мне без «по разумению», и это мне понравилось. Что такое этот ваш Судный день, о котором здесь все твердят, я не знаю. Но по календарю он через тридцать пять дней, и до тех пор я намерен выяснить, кто и зачем вошёл в запертую лавку. А если в ней никто не был, я хочу это доказать так, чтобы никто не мог возразить.

— А если был? — спросила она.

— Тогда этот кто-то оставил след, — ответил он. — Следы я умею находить. Разумению не доверяю, а следам доверяю.

Он ушёл в избу, а она осталась стоять на крыльце. Кот к этому времени уже исчез, как исчезал всегда, когда разговор становился неудобным.

Её отпустили поздно вечером, с условием не покидать яр-

марку. Она шла по рядам мимо закрытых лавок, и на каждой висела бирка с ценой, написанной на завтра. Все цены были верными: торговцы ещё не успели солгать. Впервые за день ей стало спокойно, и она подумала, что покой на ярмарке — это просто час, когда лгать уже поздно, а завтра ещё рано.

Дома её ждала Аграфена. Она сидела на лавке у печи, не зажигая огня, и теребила край фартука.

— Хозяин умер, — сказала она вместо приветствия. — Я у него восемь лет в конторе убирала, пыль стирала, полы мыла. Он ни разу на меня не накричал. Зачем ему было так?

— Как — так? — спросила Прасковья.

— Запереться и умереть. Он любил жить. Всё, что у него было, он умел считать, а считать, что жизнь кончается, не любил. Вы поймите, сударыня: он был не из тех, кто сам.

Прасковья села напротив. Она не стала говорить, что ничего не понимает, и не стала успокаивать. Спросила только, не заметила ли Аграфена чего-нибудь странного в последнюю неделю.

— Странного, — повторила Аграфена. — Хозяин стал проверять замки. Каждый вечер ходил по всей лавке и дёргал каждую задвижку. Раньше такого не делал. И ещё...

Она замолчала, и Прасковья подождала.

— Ещё что-то в нём переменялось, — сказала наконец Аграфена. — Он стал смотреть на Тимофея Гуляева так, будто хотел о чём-то спросить и не решался. Тимофеем двадцать лет у него служил, а тут хозяин вдруг стал глядеть на

него как на чужого.

Про задвижки Прасковья запомнила, а про взгляд решила пока не думать: взгляд не поддаётся счёту, а ей нужны были вещи, которые можно сложить и проверить.

Когда Аграфена ушла, она не легла. Села к столу, зажгла свечу и принялась выписывать на бумагу всё, что знала, столбцом, как выписывают долги: кто, когда, что сказал, что сделал. К полуночи столбец вырос на целый лист. Прасковья посмотрела на него и увидела, что в самом нужном месте он пуст. Не хватало одного: причины, по которой человек, спокойный как никогда, запирается на ночь в своей лавке и умирает так, что тело находят мокрым.

Она убрала лист в шкатулку, задула свечу и лежала без сна до самого рассвета, слушая, как за стеной неспешно, ровно, как часы, дышит ярмарка. Тридцать пять дней, думала она. Тридцать пять дней, и ни одной нужной цифры.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.